

ПУТЕВЫЕ ВЕХИ

Зёрна

Русские писатели, в мысленном озарении, в душевном дивлении запечатлев на скорую руку тающее мгновение, щедро заседали повествования зёрнами живых зарисовок, и зёрна либо светились во мраке повествования звёздной россыпью, либо, зёрна, засеянные не в камень, не в расхожий просёлок, но – в ласково вспаханную, нежно бороненную сказовую ниву, рождали обильное повествовательное жито. А ежели сочинитель не ведал, куда засеять зерно или скорбел, что зерно сгинет в долгой и мудрённой повести, то собирал зёрна в лукошко – рождались краткие сказы: «затеси», «зёрна», «подорожники», «камешки на ладони». Вот и я, грешный, измыслил «Путевые вехи», куда собираю, радостные и печальные, светлые и сумрачные заметы – впечатления, размышления, не дающие покоя неприкаянной душе.

Озеро

Песнь первая

Зеленоватое озеро томилось в покое, — гладкое и ленивое, уснувшее вязким и душным сном, сомлев на растекшемся по небу, жарком солнце. Озерную гладь не морщил даже гулевой ветерок из степи, и остекленелым миражом колыхалась угарная тишь, сквозь которую приглушенно пробивались крики рыбаков и чаечьи стоны. При эдакой покойной воде рыба вздымается из глуби, приваливает в берега поживиться мошкой, поиграть на теплых плесах; вот тут чайкам да рыбакам, которые выметывают загребистые невода, самый улов. Пахло теплой плесенью от застоялой воды, возле берега потянутой жирно-зеленой пеленой; пахло преющей береговой тиной и выброшенными шальной волной на песок водорослями, которые потеряли свой изумрудный окрас, и, вылинявшие добела, сухо трещали под босыми ступнями

Малого меня, хоть ором ори, хоть лопни, родичи в лодку не брали, да и от берега гнали, и я, отскулив до звона в стриженной башке, сердито шуганув кур, опрокинувших банку и ворующих червей, убежал на озеро крадче, где и мастерил себе тальниковое удилище. Рыбачил, забредая до пупа, азартно скрадывая, как мелкие, но дивно увеличенные водой, важные окуньки принохиваются к наживе, куражливо воротят носы, – шибко уж крючки здоровенные, на матерого окуня, да и те чудом вымолил, заплакал у скупых братьев либо свиснул подшумок. Вижу себя сквозь туман полувека: малый с большой стриженной головой и облупленным носом крепко сжимает удилишко, весь подался к поплавку, и живым сиянием выются над парнишкой крикливые чайки... и вдруг все замирает, оседает в памяти светлой печалью по необратимому счастью.

Кукан – тальниковый прут, скрученный в кольцо, куда снизывались пойманные окушки и чебачки, держал вместе с банкой червей малый карапуз, которому и штанов-то не давали, не говоря уж про удочки. Постаивал он на отмели, канючил удочку, грозясь иначе выкинуть в озеро кукан с рыбой и банку с червями. Бывало, надоест слушать его нытье, сунешь карапузу удилишко, а сам ошалело кинешься в озеро. Отвел рыбак душеньку, сопрел на палящем солнце, заплескался селезнем, ныряя с открытыми глазами к самому дну, подбирая озерные ракушки...

Но погода на озере менялась так заполошно, что оторопь брала: вот еще колыхалась знойная тишь, но вдруг из-за хребта выползла пепельная тучка, всплыла на вершину неба, чудовищно разрослась, застив сморенное солнце. Слово с тучи, пал на воду лихой ветер, отмашисто шоркнул озерную гладь, смял ее, и погнал прокосами мелкую рябь. Ветер трепал озеро все чаще и чаще, все круче и круче, с варначьим посвистом задирая воду вихрами, пока не разгулялись волны, белеющие пенистыми барашками, которые тут же наперегонки поскакали к берегу. Ветер, еще набирая силушку, гадал, с какого края ловчее накинуться, ухнуть всей грудью, быстро менялся, баламутил воду, рождая мертвую зыбь; и ясно виделось по тени, как ползла набухшая туча: в ясном поле валы катились сочно-зеленые, почти изумрудные, а в тени — холодно-серые и тоскливые; тень быстро стирала с озерного лица румяную беспечность, густо-зеленый смех солнечных волн, давая полную волю недоброй, куражливой хмурости; и вот уже весь белый свет охватила печальная муть, словно вечер поспел к полдню, и, густо налитые мороком, с нарастающим ревом и посвистом кинулись в берега серые валы, сшибаясь меж собой, выкидывая к небу белые лохмы брызг.

Озеро, раскачавшись на ветровых качелях, долго не успокаивалось; еще недавно спящее душным полуденным сном, вдруг разбуженное, похрипывало, постанывало, наотмашь кидая на отмель крутые волны, впиваясь в глинистые берега пенистыми клыками.

Парнишка с деревенскими огольцами греется у костерка, на тальниковых рожнах жарит окуньков, и, черствыми ступнями ощущая надежную земную твердь, дивятся безунывно штормовому валу, а детство замирает навек в остывающей памяти тоской по счастью, безвозвратно укрылившему на озерном ветру, истаявшему в зеленой мгле.

Песнь вторая

На диво глубокое, с меркнувшими в октябрьской сини, туманными берегами, озеро дышало нагулянной за лето, сытой плотью; в ясных прогалах среди прибрежной травы играла сорожка, плавилась поверху серебристыми табунами, пучила воду, и в охоте за ней били хвостами, взбурунивали сонную озерную гладь яркие окуни и свирепые щуки-травянки.

В те дальние годы озеро еще хоронилось от своекорыстного мнолюдья, пряталось в Божьей пазухе, где вольно и обнаженно плескалось, выметывая на песчаные, каменистые и зыбистые берега шелковистые подводные травы, будто зеленоватые, сыро светящиеся, долгие космы водяных дев.

...День выдался теплый, но не жаркий, и тихий-тихий, на диво тихий. На краю сентября все чаще и чаще задувал хиуз — по-зимнему пробирающий насквозь северный ветер, — косматил постаревшее в осени, гудящее по ночам озеро. А тут на удивление и умиленный погляд утихомирилось, притаилось в сизоватой дымке, и даже чайки, и те покрикивали вполголоса — баюкали задремавшие воды и со вздохами поминали отлетевшее к небу тепло, при этом летали без июльской суеты — плавными, печальными кругами и не орали ором, не гомонили, вырывая друг у друга пойманных чебаков, — насытились, остепенились и, построжав, собирались с духом, ладились в дальний перелет.

Ярыми кострами — красной, желтой, малиновой цветью — полыхал над озером таежный дыбистый хребет, зеркально отражаясь в белесой, будто омертвелой воде. И чудилось, там, в призрачной морской пучине, иной хребет светится в осеннем угасании нежнее и чище, и замерли над ним облака и скользят безголосые чайки.

...Из седого, усталого далека привиделся мне я — парнишка в лодке-плоскодонке, вкрадчиво скользящей по линиялой, предсмеречной воде. Тихо, вкрадчиво гребет парнишка веслами и, замирая от неведомого, сокровенного счастья, любит розовеющей, будто усыпанной лепестками иван-чая, закатной рябью, оглядывается на отмельную траву, где тянется за лодкой извилистый след.

Но вот уже чуть шаает жаркими углями догорающий рыбацкий костерок, и чернь укутала прибрежные тальники, но месяц бледным оком задумчиво взирает на парнишку, и в голубоватом свете взблескивает, чешуится озерная рябь.

Иногда парнишка вздымается с угретою травянной подстилки, тревожно оглядывает набухшие ночью кусты, потом — озеро, устало и одышливо вздыхающее в темноте, бормочущее в камышевых плесах, откуда, не давая задремать рыбацкому азарту, дышит волнующий запах тины и преющей на отмели травы, слышны чавкающие всплески ночных рыбин, словно озерный хозяйнушко, обряженный ключьями мелкочейистого невода, шлепает ладонями по воде, шалит, пугает обмерших рыбаков.

Утренним туманом, незримо упыло мое детство на отцовской плоскодонке; но, витая над озером, детство являлось в редкие минуты душевного покоя, и тогда разливалась перед застывшим взором не зоревая, а ночная обмершая вода, по которой скользила отцовская плоскодонка; и когда весла вздымались и замирали, к лодке кралась такая неземная тишь, что даже в моем детском разумении зрели думы покойные и печальные, отринутые от жизни к синееющим звездам. Редея, вызванивала капель с весел; бормотала вода за кормой, выговаривая сокровенное и манящее...

Песнь третья

После Покрова Богородицы — после мягких и влажных снегов, вкрадчиво застывших весь белый свет, утаивших темную, молчаливую деревню, — в ясную ночь Сосновское озеро вдруг замерзло. Ближе к Димитрию-рекоставу, когда голубоватый месяц сиротливо и знобко плавал в покойничье-белом сиянии, а звезды, омертвелые листья, похрустывали от стужи и сине позванивали, — о такую пору озеро замирало. С вечера бушевало, полоща на ветру сивые космы, выло с пристоном, металось и билось в заиндевелый берег, царапая когтями деревянные мостки, а утром, на тихой заре — чудо. Лед... Гребенкой замерзали вдоль берега на мели вчерашние волны, махом, на изможденном взлете вдруг обмирали тронутые ночными чарами, а дальше уже стелилась голубоватая гладь. Инеем светилась увядшая приозерная ковыль, седина укрывала белесую щетину построжавшей земли...

Ребятишки, едва опомнившись от влажного покровского снега, от садких и жарких снежков, счастливым воплем встречали очередное Божье чудо, смастеренное воеводой стуж. А чудо... на то оно и чудо... вершилось глухой ночью, заглазно от людей, исподтишка, и чтоб ушлый не узрел, с неба слетал такой сердитый мороз, что избы звенели и постанывали, а коровы в стайках теснее и теснее жались боками, а ребятишки, сомлев у печного тепла, и по нужде-то боялись высунуть нос, чтоб не оставить его на морозном подворье. Ночь же выстаивалась ясная-ясная, прозрачная, как слезинка; видимо, хоть и тайное дело, а несподручно Димитрию-рекоставу вершить Божье чудо впотьмах, вслепую.

Днем же, ближе к полудню, когда с неба веяла ленивая оттепель, горохом сыпала деревенская ребятня из чернеющих изб, катилась с яра на молоденький, звончатый лед, с которого полуденное тепло слизывало ночной иней и по которому теперь плавали желтые, зеленые, буроватые пятна, приливающие от воды, песчаного дна и подводной травы, от синего небушка и реденьких облачков, от ласково засиявшего солнышка. И уже гулял по-над озером, улетал в степь залиvistый звон...

Чудо таилось и в ежегодном обращении озера... кажется, вчера купались, рыбачили... в ледяную степь; чудно было и от пугливого, счастливо кружащего голову ощущения, что, словно милостью Божией, бежишь, катишься по самой воде, — столь еще тонок и прозрачен потрескивающий лед.

В телогрейках нараспашку, в малахаях, сбитых на затылок или на ухо, из-под которых настырно топорщились припотевшие, заиндевелые чубчики, катались ребятишки на подошвах кирзовых сапог, катанок, подшитых сыромятной кожей; пихали со всей ошалевшей моченьки друг друга, тискали и, будто нечаянно, будто раскатившись, обнимали и вопили, смеялись от невыносимо распирающего счастья, пели и что-то потешное выплясывали на льду. Во рту пересыхало, сводило челюсти, и подкашивались ноги; и тогда, сморенные, валились в кучу-малу, смехом переборов мимолетный испуг, потому что лед опасно трещал, прогибался, то жалобно, то осерчало звеня, пуская вокруг кучи-малы юркие змейки белых трещин.

Бывало и проваливались, и купались в обжигающе стылой воде, потом, как мать ворчала, издыхали — маялись в беспамятном жару, но это случалось редко; озеро жалело ребят даже в их озорных играх... люди, бывало, не жалели, а озеро... и за двадцать лет жизни в прибрежном селе Сосново-Озерск на моей памяти утонул лишь один хворый парнишка, которого скорчила падучая прямо в воде. Царствие ему Небесное... А вот сосновоозерские мужики, коль шары вином зальют, что белого света не видят, день и ночь различить не могут, — вот эти, бывало, тонули и зимой, и летом. Случалось под вечер, хмельные и ублаженные рыбаками на зимнем неводе — кули мороженных окуней и чебаков гремят в кузове, — с песнями и байками разгонят машину посреди озера да так в потьмах и угодят в полынью, глядя на ночь прихваченную нежным льдом и утаенную снежным куржаком и порошей. Бывало, грузовик с разгона далеко улетал под лед, и редко... редко, кто выгребал к полынье... Но и это случалось не всякую зиму — озеро жило смирно и терпеливо.

Песнь четвертая

На уклоне лет привиделся мне невзрачный, но крепкий паренек — толи я заправдашний, толи воображенный, и синеокая светлая дева, а уж была она или приблазилась в хмельном сне, Бог уж весть... Отчалили ни свет, ни заря, когда блекло и призрачно осветился лишь край неба вдоль окутанного ночным мраком, тежного хребта, когда по озеру еще плыл белый, холодный туман. Затаенное село, некрутым коромыслом лежащее на покатых плечах озера, допивало предзоровые, сладкие одонья сна, но уже перемыкивались коровы, выгоняемые хозяйками в поскотину, пестро и разноголосо славили зарю прибрежные петухи и лениво побрехивали разбуженные ими, дворовые псы.

Узкодонная, вертлявая кедровая лодчонка ходко катила по включенной туманом воде, мягко и нешумно пластала ее игриво задранном носом, и за осаженной кормой при всяком загребе весел сыто бурчал обтекающий лодку поток. Парень греб от души, далеко отмахивая весла, а потом, упираясь босыми ступнями в дугу, вытягивался вдоль лодки и по-кошачьи жмурился, посматривая на девушку, укутанную в линиялый, с потухшими медными пуговками, морской китель, дремлющую в корме; и когда девушка вроде засыпала, убаюканная сладко воркующей течью, вздымал над ней мокрые весла, и в голые колени впивались острые, стылые капли; девушка зябко передергивала плечами и, ойкнув, подбирала ноги под себя, кутала их полами кителя, а потом, пригревшись, млело глядя сквозь напущенные на глаза, белесые ресницы, с ленивой хитрецей улыбалась и, погрозив остреньким кулачком, снова качалась в озерной дреме; но всем чутко молодым телом ощущала рывки и скольжение лодки, похожие на тихое падение и затяжной взлет — словно парила, кружилась в сизом поднебесье; и, похоже, любовью теснилось ее сердце, хотелось отпахнуть руки-крылья и лететь над синеватой, утренней землей.

Еще с деревенского берега, когда спихивали лодку на воду, остроокий парень высмотрел на краю озера под Черемошником бело-пестрый чайный клубок... а чайка зря не слетится ватагой... и сразу же, пробираемый суетливой рыбацкой тряской, лихо погнался резвую узкодонку прямо на чаек. А чайный ворох, чем ближе к нему подплывали, рос и рос, пока не заслонил собой небо, отчего казалось, что небесная синева расплескивается белопенистыми волнами-бурунами. Плакали намазанные железные уключины и похоже драли глотки оголодавшие за ночь, ошалевшие чайки, спутанные в мельтешащий ворох. Бесшумно подняв весла... длинные капли замирающе опадали в воду... вкатили в чайный базар; так же тихо, боясь спугнуть рыбу, опустили бархак — камень, заменяющий якорь, и тряскими пальцами размотали жилку на удочках... Томная рябь, исподволь суля фарт, с прищелком чмокала в борта... Девушка еще не успела верно настроить глубь, как тут же выдернула первого

заполошного окуня, потом другого, третьего... и скоро в лодочных отсеках, яро расплескивая воду хвостами, обрызгивая рыбаков, запохаживала рыба.

... Они и не заметили, что взошло солнце и растаяло в маревном небе, что рассеялась сытая чайка и давно уж проснулось село: с залитых белым зноем, по-степному широких улиц прилетал на озеро гуд машин, отчаянный стрекот мотоциклов и заливиный пустолай дворовых псов; крикливая бабонька грозила своему чаду: мол, не лезь в озеро, а ежели утонешь, то лучше домой не приходи – выпорю; и, перекрывая гуд, рокот, лязг, ор, что есть моченьки надсаживался репродуктор над деревенским клубом: «... сладку ягоду ели вместе, горьку ягоду я одна...»; но, долетая до лодки, на край озера, крики, звяки и бряки, жухли, увядали и, глухо слившись, касались слуха лишь как эхо суетливого света; здесь же вокруг лодки миражил райский покой.

Солнце забралось выше, скопило и дохнуло из себя белесый зной; рыба тут же, махнув хвостом на мудреные наживки, отошла к берегу, грелась на солнышке, лениво поигрывая в зеленоватом мелководье, лакомясь мошкой, заносимой случайным ветерком, опадающей, словно манна небесная. Парень втянул в лодку якорь и погреб под Черемошник – близкий от них берег, выше желтеющей песчанной осыпи взъерошенный густым боярышником; заплыли за околбережную траву, лежащую на воде блескуче бурыми, долгими листьями, среди которых белели кувшинки – купавы, купавушки, поздешнему; и за травой, выгнутой вдоль берега заплатной дорожкой, решили искупаться.

Девушка, отмахнув руки, колышисто взошла на горделиво вздернутый нос лодки, сложила ладошки, словно для молитвы, прижала к лицу и замерла; сразу не набравшись духа, огляделась да и, залюбовавшись сонным покоем белого озера, опустила руки. Парень дивился, какая у нее ладная стать, словно из теплого, буроватого древа вырезанна тонко и нежно; любоваться бы и упаси Бог позариться. Спиной почуяв щекотящее тепло удивленного взгляда, девушка обернулась, из-под нависших крылом волос смущенно и благодарно улыбнулась... нос лодки присел, потом взметнулся к небу, и охнула в зеленой истоме вода... Мимолетный, странно волнующий, пристальный погляд, девье лицо в паутине волос, в блуждающих отсветах озера, навсегда остыв в памяти, весь оставшийся век будут являться и бередить уставшую, дремлющую душу.

Потом он смотрел как девушка плывет среди подводной муравы, и – не по-девчоньчи, отчаянно дрыгая ногами; меж высоких стеблей вьется гнучее тело и темной волной выстилаются волосы; и чудилось, что девушка не нырнула с лодки, а, словно водяная дева, вечно блуждая среди придонных трав, плыла мимо и угодила на глаза. Он смотрел обмершим взглядом... плавно выгибалась спина, ручьями текли по ней пряди волос... смотрел, хотя и сам спарился на жару и не грех бы искупнуться; и увиденное почудилось ему заманивающим в себя душным и грешным сном...

Девушка, по-ребячьи угловато вскидывая над головой острые и быстрые локти и буруня воду ногами, угребла до самого берега; выйдя на песок, побрела, нагибаясь, подбирая ракушки с намытым в них илом и песком, а потом, всплескивая руками и высоко взметывая колени, бежала теплым плесом, и голосистый смех летал над водой, и руки, волосы загнанно металась над головой, из-под ног густо били брызги, и в них вспыхивали цветастыми зрачками азартные радужки...

Парень, искупавшись, устало лежал в лодке и смотрел, как девушка, тая в знойном мираже, вроде не бежала, а летела по-над самой водой... От того, что смотрел он слишком пристально, не мигая, в глазах поплыла водянистая рябь, и все в бегущей странно изменилось: вытянулись ноги, а голова, крохотная, запрокинутая, стала чуть видна... но вдруг все в ней выправилось и тут же обмерло: застыли вспорхнувшие над головой руки и крылья волос, окаменел смех на счерневших губах, повисла над водой нога, замерли на фоне песчанной осыпи белые брызги, обнявшие собой негаснущую радугу; и послышался нудный, как зубная боль, нарастающий вой самолета, и в зловещем покое перед взрывом – упреждающий глас с раскатистым эхом; потом все на глазах обуглилось, обратилось в тень... Видение, осев лишь в потрясенной памяти, тут же пропало с глаз; снова шалый смех трепал ее губы, снова руки и волосы сплетались и вились в озерной пляске, а из под ног били брызги, осиянные заполошной радужкой... Истомленно и счастливо дыша, девушка забралась в лодку, склонилась над ним, лежащим, укрыв льющимися волосами, словно тайным покровом...

В село греблись уже впотьмах, когда поперек озера выстелилась рябая, бледно желтая тропа, и с вкрадчивым всплеском опадали в озеро незримые весла, журчала, обмирая, вода в корме, и девушка, кутаясь в морской китель, обреченно пела:

Сронила колечко со правой руки,
Забилось сердечко о милом дружке...

Они плыли к селу, уплывая из миражной озерной юности: паренек, посулив девушке скоро вернуться, укатил в город, который цепко ухватил его в свои каменные объятия и не отпустил, а девушка осталась в памяти, как оборванный светлый сон.

Песнь пятая

Озеро – смиренное, податливо-теплое, напарившее свои обильные телеса в солнечной бане и теперь, широко растелешившись, ласково и дремотно глядящее в линияное небо зазеленевшими глазами, на которые млело осыпаются белесые ресницы; озеро – нежно щекотящее ребятишек заалевшей на закате, игривой рябью, а с бывалых и усталых смывающее прохладными, придонными струями тоску и унынье; озеро – изъезжанное моторками, с болью рвущими тонкий озерный покой на птичьих зорях; вдоль и поперек процеженное, избороженное неводами; озеро – все терпящее, щедрое злой и доброй руке, – озеро кормило и пило человека от живота, дарило благостный роздых от житейской смуты на зоревых, призрачно-синих водах, тепло подрумяненных у песчанной косы; питало всякую божью тварь, бредущую и ползущую к солнечным плесам; досыта, до буйного зеленого пьяна пило землю окрест себя: желтоватые степи, бурые таежные хребты, приозерные луга, сельские огороды; но однажды... однажды, потемнев с лица, угрюмо затаившись, потом обиженно всхлипнув, озеро бранливо помянет человека, неустойчивого в своекорыстной добыче, взметнет вдруг в занебесье темные ярые крылья и... полетит... полетит с диким посвистом, словно надумав унести с многогрешной земли; и, разбиваясь о скалы могучей грудью, от ярости выметывая злые, белые когти, бесясь и бессильно рыдая, с пеной у рта будет отрывивать на песок все, что уже мутит надсаженную утробу; разворочает худые, старые мостки, с которых бабы черпали воду и полоскали потное белье, разметет незачаленные лодки, унесет в пучину, а после перевернет и захлестнет волной привязанные на цепи; и много дней и ночей будет реветь раненной медведицей, пугая и на чем свет стоит понося человека; не приведи Бог угодить рыбаку в свирепые, ледяные объятия озера, – сглотит и долго будет рокошусе хохотать во всю многоверстную пасть, выманивая эхо с обмерших от испуга хребтов, куражась над человеком, торопливо взявшим в ум, что уже объездил, приручил дикую и вольную птицу; и не одна хмельная, отчаянная голова, рискнувшая потягаться с волной, находила себе упокой и вечное похмелье в глухих придонных травах-шелковниках; но... погуляло вволюшку, горько утешило заскрипевшую в недобром предчувствии, сохнущую грудь, упредило человека, чтобы брал, да чуру знал, и в одно ясное утро озеро вдруг разом трезвело, таилось в зоревом смущении; а уж к полудню, покорно выстилаясь на зализанном песке, поигрывая выброшенными белыми ракушками, сочно-зеленой куделью шелковника, обрывками старых веревок, березовыми наплавами от сетей и неводов, банками, склянками, мятыми бездонными ведрами, робко омывало человеку натруженные ноги и, словно вымаливая прощение за недавнее буйство, доверчиво приникало к ногам, оглаживало, щекотало рябью; и опять зорево осветляло, растепливало человеческий дух своей Божьей красотой и лаской.

На Покосе

...Серебрится росная трава, цветасто играет в утренней заре, сизый туман клубится над извилистой, вкрадчиво шелестящей рекой, а в зарослях приречного тальника залиvisto поют Божии птицы, славят утренний свет. О такую пору поминался Ивану старый отцовский покос, прибранный луг и зарод сена, похожий на дородную избу; поминался осиротевший после сенокоса балаган, крытый листовничным корьем, притуленный к раскидистому листовяку. Грешную душу бы вынул, не пожалел – прими, Господи, после покаяния, причащения и соборования, но дай сперва, Христа ради, полежать вволюшку под свежим зародом, вдыхая с тихой усладой запахи свежескошенных трав, купаясь в засиневших небесах, глядячи, как спеют вечерошние звездочки, а над березовой гривой всплывает ржаным караваем румянный месяц. В небе, в лугах и березовой гриве, в душе – вольный, ясный покой; и блазнится: летишь к небесам, словно синичье перышко, летишь, задыхаясь от счастья, кружишь над родимым покосом, где синим коромыслом выгибается река Уда, где белёсым хороводом плывут мимо луга девы-березы, обряженные троицкой листвою. Утаившись в душе деревенского паренька Захара, Иван Краснобаев, выросши в писателя, и запечатлел отроческие воспоминания в сказе «Старый покос».

* * *

Сенокосная страда... Захар, от горшка два вершка, лишь зиму отбегал в школу, а уж копны на кобыле возил к зароду, где Захаровы старшие братьовья, тятка и дед Любим метали сено. Иногда верхи едешь, наяривая пятками по кобыльему животу, иногда пеши бредешь, тянешь за недоуздок Гнедуху, живущую в хозяйстве о ту пору, когда отец лесничил. А подросши, литовку в зубы – и пошел плечо зудить, пока не разоидется, пока солнечные лучи до шершавой сухости не вылизут росу с травы. Когда румянное солнышко взойдет, мать покличет к балагану чаевать. А пока коси. Отец не погоняет, но сам не присядет, и другим совестно, – надо, кровь из носа, к Илье-пророку откоситься, ибо до Ильина дня в траве пуд меду, а после – пуд навозу: трава перестоит, посыплет семенем, або, хуже того, зарядят на Авдотью-сеногнотью гнилые дожди, жди потом, дожидайся погожих деньков и вороши прелую кошенину. Дед Любим смехом пугает Захара: «Захарка, не кидай грабли вверх зубьями, – небо поцарапашь, дождь пойдет...»

Парнишкой же, бывало, бредешь сырым лугом, и сморенная Гнедуха упирается, машет хвостом, передергивается блестящей от пота кожей – пауты донимают, и с натугой тащит копну на волокуше. А босые ноги твои по щиколотку тонут в зыби, а в следы насачивается ржавая вода. Пить охота, но терпи казак, терпи, атаманом будешь... Ступни режет остро подрубленная отава, пауты кружат перед носом, того гляди, и цапнут окаянные; а под вечер мошка одолевает, тучами кружащая возле тебя и Гнедухи, к тому же поедом едят осатаневшие на вечерней заре комары, и хочется, до слез хочется встать под дымокур из коровьего кизяка. И соленый пот застилает, разъедает глаза, и все же радостно, вольно на душе – тятке подсобляешь... И кажется, тятка поглядывает, покачивает головой в диве: ишь ты, под телегу пешком ходит, а уж подмога ладная; путный, однако, парень растет – хозяин, дай ему, Боже, воли и доли. А уж как перепадет парнишке ласково подмигивающий тяткин взгляд, – в лепешку бы расшибся, абы еще заработать эдакий ласковый погляд. Бегом бы копны возил; сам бы, кажется, припрягся к Гнедухе, лишь бы тятка глянул и с улыбкой покачал головой: дескать, о, дает парень, а! И утешно глянуть назад, увидеть, как редеют копешки, как подбирается, светлеет луг, словно изба хозяйки-чистотки... и дышать легче и вольнее...

А малым недоросточком сидишь, бывало, на Гнедухе, волокущей копну, глядишь, как отец с дядьями мечут зарод и гадаешь: а ежели бы сметать до неба синего, чего в небе узришь?.. Царя Небесного с Царицей, святых угодников?.. Поклонился бы Царю Небесному ...нет, пал ниц у Престола Божия!.. и слезно просил, чтоб тятка мамку не обижал, а то распалиться другорядь, когда дела не ладятся, да и ...с больной головы на здоровую... мамку и облает. А мать ведет кобылу на поводу, тяжело, по-утинному переваливается, – опять на сносях, но работушкой не попускается.

Помнится ...уж большенький был, без матери копны к зароду возил... ступил нечаяно на скользкую лягуху – подле болотины больших и малых тьма, так и пуляли из-под ног и лошажьих копыт, – так вот, наступил на лягуху, с перепуга взревел лихоматом, упав на стерню. Прибежал от зарода тятка с вилами, а как смекнул, что к чему, хотел было в сердцах вытянуть чернем продоль спины, чтоб не драл глотку попусту, не отрывал людей от дела, но сжалился над парнишкой и лишь усмехнулся, и перед косарями на посмех не выставил.

А за версту от старого покоса – извилистая Уда, и хоть узка речка подле вершины – курица вброд перескочит и юбку не замочит – а разольется вешняя либо после дождей-проливней, то – мощная, бурливая, коня с ног валит, и тогда с рекой шутки рисковы и бедовы. О ту помятную сенокосную страду Уда вольно разлилась, взревела на перекатах, закружилась в зеленовато сумеречных омутах. И однажды по полудню сгребли зоревую кошенину, поджидали предсумеречный ветерок, дабы развеял зной и паутов, изнуряющих Гнедуху и покосчиков. И надумал отец перегородить Уду сетью, добыть на жареху ленков и хариусов. Обрыдла пресная еда, рыбки свеженькой поели бы в охотку... Дал тятя малому парнишке бичеву и велел брести через перекаат подле омутной заводи, откуда и решил шугануть рыбу в сетеху, – высмотрел в улове хариусовые спинки, заманчиво темнеющие у илистого дна. Парнишка перекинул через плечо пеньковую бичеву и – чуть не бегом по броду, а на стрежене сбило ревучим течением, понесло, колотя на скользких, тинистых валунах, понесло прямо в глубокий омут. Долго ли, коротко ли волочило, обеспамятевшего от страха, вдосталь хлебнувшего воды, да нагнал отец возле самого улова, поймал за шиворот и вынес на солнышко сушиться.

А вечером в балагане со смехом и дивлением поминал:

– От ить, язви его в душу, а! Тонет, а маму ревушком ревет. А мать-то, она где?.. Мать на покосе, подле балагана, а я вот он, подле. Дак нет же, «тятя» не ревет – «мама»...

– А и, в сам деле, прижмет, мамку кричишь, батьку сроду не помянешь, – соглашается дед Любим.

– Бросить бы в речке, пусть бы мамка спасала, – посмеивается отец, весело мигает покосчикам.

– Не-е, паря, Захарку бросать нельзя, утопнет, – вмешался дед, – а кто будет копны возить к зароду?! Такого работничка днем с огнем, ночью с лучиной не сыщешь. Без его, как без рук...

Лежит малый на сухой травяной перине, притулившись к матери, гордится – работничек, без него покосчики, как без рук, без него сена не накосишь. Мать, грустно улыбаясь отцовским говорям, скребет в сыновьей головушке тяжелым охотничьим ножом, чтоб перхоть не заводилась. Ножом бы столовиком сподручнее, да где его взять на покосе. А парнишонка, вроде, слышит: гудом гудят материны ноги, осадистые, задервеневшие от усталости, перевитые синими косичками вен, отходят с жалобным постонем, избитые дневной колготней.

В балагане копятя зеленоватые сумерки, покосчики засыпают, млеко поглядывая на чуть шающий черными головнями костерок, что против балаганного лаза, и сквозь теплую дрему в пол-уха слушают отца.

– Ишь какой заполошный, – рысью кинулся через перекаат. – А с ём, паря, шутки плохи, до греха рукой подать...

Мать, забываясь в дреме, напевает сыну, словно малому титёшнику, колыбельную, печальную и потешную:

Ой, баю, баю, баю,
Потерял мужик дугу,
Шарил, шарил, не нашел,
И заплакал и пошел...

И вдруг случай на реке, потехи ради поведанный отцом, зримо оживает пред разбуженными материными глазами, да так ярко и жутко – «...и как не утоп, родименький?!» – что глаза ее, часто и горестно заморгавшие, набухают слезами, и слезы, скопившись в тенистых глазницах, падают на сыновье лицо; парнишка замирает, губы его подрагивают и слезы едко точат глаза. А мать, вжимая сыновью голову в мягкую грудь, уже тихонько причитает по сыну, но тут отец сердито осекает:

– Хва причитать! Чего ты воешь, словно о покойнике... Наворожишь, накаркаешь, ворона... Не утоп же?.. И неча слезу попусту тратить...

Мать затихает, крестится на месяц, поддевший рогом балаганный лаз, и, прижав парнишку к тугому, опять не полому животу, тихонько засыпает, но даже во сне не отпуская, оглаживая сына, когда того, будто ознобом, окатывает в сновидениях пережитым страхом. И снится ему синее небо, лебяжье облако, где на резном троне, в цветастом сиянии Сам!.. Царь Небесный, похожий на деда Любима: снежная борода по пояс, волнистые волосы плывут на плечи, укрытые золотистым покровом. А вокруг ангелы кружат, словно белые птицы с человеческими лицами, и ласково поют. Захар падает на колени, чтобы попросить о матери и... вдруг срывается с облака и летит к сенокосным лугам, к речке Уде, к балагану, где ночуют покосчики, и не страшно ему, и не разбиться ему о земь – за плечами вольные птичьи крылья.

Музейное село

*Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,
Люблю твои избышки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шепот ив у омутной водыю
Люблю навек,*

до вечного покоя...

Николай Рубцов

Не ветшая в насмешку над мертвдушным и душным, бетонно стылым жильем, могучие, избы-вековухи мудро и покойно, с погостовой отрешённостью от жизни, красуются на ангарском яру, вросши в берег закаменевшими, листовничными корнями, словно и не рубили их русские мужики, а избы выросли из земной тверди и заматерели, как возрастают и матереют кряжистые листовники, уплывающие в поднебесье, солноликие сосны.

Русская изба – дом, терем, хоромы – словно древняя славянская ладья, выплыла из тьмы веков, из эпохи скифов-земледельцев, и на Русском Севере да в Сибирской Руси обрела вершинное творческое воплощение. Русский мужик-древодолец, срубив дом-пятистенок из сосняка, что до звона выстоялся на корню, уложив в нижние венцы листовничные кряжи, умудрив кружевной лепотой, гадал не о том лишь, что в трудах и молитвах ладно, угревно и чадородно заживут домочадцы в избе, но и небесной блажью сладко томил сердце: продюжит изба два века, и добрым, молитвенным словом помянут внуки и правнуки его, строителя хоромины, и легче, отраднее будет на небесах его крестьянской древодельной душе, грешной, но согретой родовой, братчинной и сестринской любовью во Христе.

Рубилась изба топором – отчего и сруб, – поскольку в отличии от пилы, рвущей дерево на торцах, раскрывающей древесные поры, где копится сырость и гниль, топор заглаживает, утаивает поры, и венцы не страшатся сеногнойных дождей и грибной прели – два века простоят.

Крестьянская изба сроду не перечила лесам и степным увалам, рекам и озерам, но любовно прилаживаясь, сливаясь с окрестной природой, вершила ее красу и волю. Обряженная потаёнными резными карнизами, причелинами, «полотенцами», коньком на охлупене, в коих замерли навечно древние закликательные знаки-обереги (кресты, знаки солнца, земли, вод земных и небесных), — русская, славянская изба являла собой и образ Вселенной, образ Творения Божьего.

В красивой избе – полагали древодельцы – и жизнь родовой сладится красивая, и чада нарожаются brave, удалые, древодельные искусники, для чего, подражая окрестной природе, украшали избу затейливой пропильной и рельефной резьбой. Резные кружева радовали, тешили душу домочадцев щедро украшенной избы, а магическими знаками-оберегами по-древнерусским повериям, еще и оберегали душу от нечистой силы. Канули в православную вечность языческие суверия, но выжила краса, воспевшая мощь природы и человеческий образ – недаром изба и очеловечивалась: передняя часть – лик, окошки – очи, узоры над окнами – брови, резные «полотенца» по венцам – ланиты, фронтон – чело.

Зажиточные крестьяне и мещане, а уж тем паче томские, иркутские купцы – радители городского и посадского благолепия, старались пышнее, искуснее украсить свои хоромины, и, случалось, за «кружевное платье» платили древодельцам те же деньги, что и плотникам за возведение сруба. «Кружевной песнью» величал русскую домовую резьбу поэт Сергей Есенин: «Орнамент – это музыка (...), никто так прекрасно не слился с ним, вкладывая в него всю жизнь, все сердце и разум, как наша древняя Русь».

Железобетонный нахрапистый век начал было хоронить избы, деревянные дома, терема и хоромины, и приступила скорбная пора, когда из душ новоявленных мастеров повыветрилось чувство природной красоты, а из рук древодельцев вместе с топором уже выпадало бывшее мастерство. И уж потянулись к погосту обветшалые срубы – вещицы избы, чудные дома, дивные терема и хоромины, украшенные потайной, бережной резьбой, – но, слава Богу, зажиточный народец из бетона и кирпича поманило в деревянные дома, неразлучные с матерью сырой землей, и стало возрождаться плотницкое ремесло, а с ним и русское древодельческое искусство домового орнамента, даря крепким избовладельцам утеху взору и оберег душе.

Подле русской сибирской избы явственно чувствуешь сухой, белесый, протяжный и распевный лад крестьянских будней: вот заголосил бывалый петух, ревниво подхватился молодой, задорный, и, разбуженный певнями, зоревый свет с виноватой поспешностью стирает с морщинистых венцов ночную хмурь, увеселяет сруб золотистым теплом; вот в стайке глухо взмыкнула корова, ей подтянула соседская, потом вдоль улицы поплыла рассветная песнь пастушеского рожка; а вот щекастая, розовая со сна, дородная молодуха опустила по лесенке из сеновала и, смущенно оправляя сарафан и выбирая из волос приставшие сухие былки, счастливо улыбается ночному, любит утренняя синевая, потом, схватив ведра и коромысло, раскачисто плывет к реке, над которой стелется молочный туман; а вот, напоивши коня, вздымается с яра крутоплечий мужик, при виде молодухи замирает в седле, но не зарясь греховно на бабье обилие, но дивясь чадородной мощи, что сродни хлебородной матушке-земле. И, осенив себя крестным знаменем, воскликнет мужик: «Господи, Иисусе Христе, столь благолепны и обильны земля Твоя и люда Твоя... И жить бы нам в ладу и любви, и славить Тебя денно и ночью...»

Но нет, глухо и сонно в музейной «деревне», как на погосте, и тишина сия на весь ее оставшийся, праздный век...

* * *

И как было утешительно, отраднее, что на Святую Троицу «сибирская деревня», — музей деревянного зодчества «Тальцы», что на сорок седьмом километре Байкальского тракта, – ожила не крикливо-яркими, пугающими «деревню» и окольный березняк, гремящими куртками туристов и чужеземной речью, — нет, избы и подворья ожили вдруг словно взаправду, хотя и не буднично, а празднично.

...Из утреннего тумана выплывает деревянная церковь, и зоревый свет падает на купола, и золоченные кресты сияют в синем поднебесье; звенят залиvisto колокола, славословя Святую Троицу. В теплом и ласковом свете церковная паперть; из храма ликующей, цветастой рекой плывет крестный ход; впереди батюшка с крестом и притч с иконами, поющие:

– Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас...

Вначале подворья замерли, благоговейно и осветлённо вслушиваясь в молитвенное песнопение, — молебен и крестный ход, — беггласо вторя праздничному тропарю: «Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа Святого и теми уловлей, вселенную. Человеколюбче, слава Тебе». Крестный ход, обойдя деревню, стекает к Ангаре, чтобы освятить её светлые воды.

Но вот утих молебен, вознёся к отцветающим июньским небесам, и выплыла, словно из славянской стари, наша разнаряженная красными лентами кумушка, берёза-берегиня, без коей Русь, святая и берестяная, Троицу не праздновала. А уж на краю «деревни» залилась гармошка, заиграла для зачина неторопоко и распевно, пробуя голос, потом в залиvistые переборы вплелась старинная русская песня, которая — даже если сходу и не разобрал слова — тревожит, берedit сердце предчувствием чего-то неведомого, но до дрожи родного, счастливого, словно после долгой и опасной разлуки увидел отчий дом, мать, отца, сестёр и братьев, по коим изболелось сердце. И вот уже по улице, осиянной нежарким утренним солнышком, под переборы, переливы гармошки прошли в русских платьях те, кто знал и помнил такую деревню вживе, любил её и в добром благе, и в горьком лихолетье, кто дотягивал свой век по сибирским деревушкам. Шли наши старые матери и бабушки...

Таинственны и причудливы славянские праздники, когда, радея в Радуницу, вопленицы от молитвы, плача и причети по усопшим, вдруг с небес опускались на землю и начинали воспевания земного плодородия и бабьего чадородия под буйные, как вешнее половодье, птичьи пляски, когда очистительно горюнилась, страдала и возносила молитвы ко Христу, а потом живительно ликовала, веселилась русская душа, всякий раз вновь обреталась, крепла, чтобы вновь и вновь дивить мир неразгаданной силой и красотой, закрепшей в терпении, любви и мольбе.

В деревне Троица, и посреди чистого двора береза, украшенная бумажными цветами и лентами. На амбарном приступке сидят три парня, самый кучерявый играет на гармонии. Две деревенские девушки с венками на гладко зачёсанных волосах красуются возле берёзы, уряженной желтыми, синими, алыми цветами, помахивают берёзовыми ветками и поют семицко-троицкую песню. А народ — окрестные жители, — ино и хлопают в ладоши, похваливая доморощенных артистов. Девушки поют, обходя берёзу-наряжённу:

Во поле березонька стояла,
Во поле кудрявая стояла,
Ах, люли, люли, стояла,
Ах, люли, люли, стояла.
Алыми цветами расцветала,
Ах, люли, люли, расцветала.
Некому березу заломати,
Некому кудряву зашипати,
Люли, люли, зашипати.

Девушки трижды обходят наряжённу; являются парни, и курчавый лихо играет на гармонии.

Пойду в лес, погуляю.
Белую березу заломаю,
Люли, люли, заломаю.
Я, млада девица, загуляла,
Белую березу заломала,
Люли, люли, заломала.
Выломлю я два пруточка,
Сделаю я два гудочка,
Ах, люли, люли, два гудочка.
И четвертную балалайку,
И четвертную балалайку,
Люли, люли, балалайку.

У первой девушки появляется в руках балалайка, на которой она играет и поёт напару с подругой.

Стану балалаечку играти,
Милого дружка вспоминати,
Ах, люли, люли, вспоминати.

Вторая девушка поёт, подойдя к избранному парню, а в руках у неё расшитое полотенце, икона Святой Троицы.

Стану я мил друга будити,
Люли, люли, будити.
Встань, мой муж, разбудися,
Люли, люли, разбудися.
Светленькой водичкой умойся,
Люли, люли, умойся.

Парень изображает умывание.

Чистым полотенцем утрися,
Люли, люли, утрися.

Вторая девушка подаёт парню расшитое полотенце.

На тебе икону — помолися,
Люли, люли, помолися.

Вторая девушка подаёт парню икону, и парень крестится, читает короткую молитву. В это время один из трёх парней изображает старика, — идёт к первой девушке, сгорбившись, постукивая березовым ботажком. Первая девушка поёт, подбоченясь, насмешливо глядя на старика, а в девичьих руках банное мочало и деревянная лопата, коей вынимают жаркий хлеб из чела русской печи.

Стану старого мужа будити,
Ах, люли, люли, будити:
Встань, мой муж, разбудися,
Люли, люли, разбудися.
На тебе — помои умойся,
На тебе мочало — утрися,

Девушка, игриво улыбаясь, с усмешливым поклонцем вручает «старика» мочало.

На тебе лопату — помолися.

Девушка, мигнув подруге, сует «старика» деревянную лопату. Гармонист наяривает плясовую музыку. «Старик» нежданно-негаданно обращается в «молодого» и начинает приплясывать. Пляшут парни и девушки.

Во всех усадьбах «деревни» в тот день звучали народные песни: и протяжные сибирские, и застольные, и подблюдные, и песни посиделок, и свадебные, и хороводные, и шуточные, и частушки-тараторки. Но перво-наперво, в лад празднику, семицко-троицкие песни, воспевающие нашу любушку — березу-берегиню.

Народные песни, собранные и записанные даже на малую толику, уже составляют горы книг, — Россия широка, необъятна, а у каждой деревушки своя новинка; но беда, что невозможно учуять всем сердцем русскую песню из книги, её можно пережить лишь в живом пении, — многоголосом, влитом в обрядовое действие, да и в родной, деревенской среде. А посему сибирская «деревня», хотя и музейно ряженная, оказалась в пору для испоконных русских праздников и песенной старины. Не

случайно о благолепной избе, ладной деревне говаривали: не изба, а праздник, не деревня – песня. Эко живо и красиво льется над ромашковым лугом, завивается среди березовых грив, приступающих к усадьбам:

Я, млада девица, загуляла,
Белую березу заломала,
Люли, люли, заломала.
Выломлю я три пруточка,
Сделаю я три гудочка.
И четвертую балалаечку,
И четвертую балалаечку.
Стану балалаечку играти,
Милого дружка вспоминати,
Ах, люли, люли, вспоминати...

На дощатых «чистых» дворах завивали хоровод-солнцевод сарафанные бабоньки да девоньки, в лад постукивая каблучками яловых сапожек, пришаркивая сыромьятью мягких чирков, и с такой редкой в злую годинушку, земной душевностью и природно-русской, отчаянной удалью пели старые певни, что — как однажды в родной деревне, когда тянули старину две вековухи, — я вдруг гордо и слезно вспомнил, что я русский, что всё — могучие избы, бревенчатые заплоты, поля среди березняков, синё мерцающие незабудками, крест часовни, тающий в голубоватом мареве, Ангара с отраженными в ее глубине таежными хребтами и белыми облаками, деревенские певни посреди дворов, многоголосые песни, птичьи пляски, — всё это моё родное, русское.

Их, старушек или женщин в добрых летах, на пречеть, песню и «плясание, плескание» гораздых, не хотелось величать артистками, — это и чуждое, и как бы малое для них звание, потому что пели они под гармонь, под балалайку, водили «карагоды», сыпали частушками себе в утеху; пели то, что само собой, знакомое сызмала, выпевалось из души. И от их пения, такого родного избам и амбарам, кажется, сама «деревня» вдруг очнулась от колдовских чар, встрепенулась всеми своими старыми венцами и, счастливо обмирая, боясь даже поверить до конца, затихла, — она знала, помнила всеми половицами и матицами, помнила и любила эти песни, потому что с ними проходила вся человечья жизнь в ее избах и дворах.

Да, пели не для славы, не для корысти, на свое увеселение, как издревле было. Помнится, даже мать моя, Царствие ей Небесное, услышит, бывало, как по радио запоют, заиграют плясовую, сразу же лукаво подмигнет нам, ребятишкам: дескать, ишь как пляшут да поют, — весело гуляют... А когда прознала, что этим певням ещё и деньги платят, как за работушку, так и диву далась: «По-овко... напоятся, напляшутся да упада, да им же еще и денюжку подай... А раньше дак наоборот, чтоб попеть да поплясать, ежели зима, так избу откупали. Яичек, сала понаташут, ребята дров хозяйке привезут, вот она и пустит на посиделки...»

Славный выплелся праздник в музейной «деревне», и всё же нет-нет да и, несмотря на удалое веселье, оживившие кладбищенскую тишь музейных дворов, ложилась на мою душу печаль: горько было смотреть и стыдно слушать, когда старушки, завивая «девичий карагод», вопевали:

Я млада девица загуляла,
Белую березу заломала...

И иной «младой девице» уже седьмой десяток и, как у нас в деревне говаривали, перекрестившись: дескать, гроб за спиной волочится, в глинско старенька поглядывает либо в мохово. Всякому возрасту свои песни, а посему и были у молодежи свои, у стариков и старух свои, приличествующие летам, — чаще божественные, покаянные.

Горе нашего великого народа, стыд и позор на головы молодых русских, когда наши свадебные, хороводные, девичьи песни на зимние святки, на масленицу, на летние святки поют древние старушки, тогда как эти обрядовые песни к лицу лишь молоденьким парням и девицам, которые, как я нередко примечал, или глазают на доморощенных, обветшавших деревенских «артисток», как в зверинце, или подсмеиваются исподтишка, а то еще и зубоскалят: мол, русские народные, блатные, хороводные...

Было бы, наверно, еще скорбнее, еще больнее за певучую Русь, если бы старушки, как принято на Троицу, пошли носить по музейной «деревне» обряженную лентами, платками и цветами кумушку-березку, какую в досельное время носили лишь девицы на выданье, славные своей красотой и чистотой. И было бы смешно и даже грешно, если бы те же старушки наплели венков ромашковых и стали кидать их в Ангара, загадывая о мил-дружке и припевая:

Размолоденький молодчик молодой,
Моему-то сердцу друг-приятель дорогой,
Ты не стой, парень, не скучайся надо мной,
Будет времечко, нагуляемся с тобой...

Случилось то на закате века прошлого, когда с дивлением и горечью взирал я на старушек, поющих и пляшущих в ряженой «деревне», а вскоре, словно учуя мою скорбь, явились и запели, заиграли русское, по-русски молодые, ясно красивые ребята и девчата из хоров народных, и затеплилась робкая надежда: падши с мертвеющих губ, исконное песенное слово не укроется в домовине подле покоенок, не укроется навечно к синим русским небесам, но оживет, взызграет на младых устах, и русские, Бог даст, не канут в злую Лету.

Россия, как земная родина, в сочинениях русских писателей прошлых веков сливалась с деревней, даже если сочинители и жили вдали от крестьянского мира, в холодных и суетных, порочно-чопорных столицах, даже если и сословно-то были далеки от сельского жителя. Думы о Родине – смекай, о русской деревне – с идиллическим любованием и святочным ликованием, с тихой печалью, сердечной скорбью и состраданием – порождали величавые, сокровенные вирши, подобные «Родине» Михаила Лермонтова. Вот ведь не из крестьян, из столбовых дворян, извращенных на французский лад, а душа-то русская сумела, пропела здравицу мужичьему подворью:

«Люблю дымок спаленной жнивы, // В степи кочующий обоз // И на холме средь желтой нивы // Чету белеющих берез. // С отрадой многим незнакомой, // Я вижу полное гумно, // Избу, покрытую соломой, // С резными ставнями окно; // И в праздник, вечером росистым, // Смотреть до полночи готов // На пляску с топаньем и свистом // Под говор пьяных мужичков.»

Чует мое сердце, провидит сквозь мегаполисный чад и смрад, сквозь одичавшие сельские поля и обредевшие леса – промыслом Божиим, мужичьим отрадным и насадным трудом, бабьим великотерпением оживет русское село со златоглавыми церквями, пасхальными звонами, солноликими избами, дородными амбарами, хлебородными нивами, покосными заимками, с земною и небесной песней.

Жизнь продолжается

22 июня... Знойный мираж, тяжкая и пыльная тополевая листва, городской угар, раскаленный перрон на «Академическом» полустанке, выжженная белым зноем пустота, лишь под тенистым навесом на долгой, ядовито крашенной лавке, словно на смертном одре, спит седой, изможденный шатун в лохмотьях... может, вот-вот помрет; и, глядя на спящего бродягу, думаю: что тебе снится, мил-человек?... может, видется мальчонка в белой рубашонке, бегущий по проселку к маме, а встречу – высокие, золотистые травы, и плывут голубоватые волны по травяной гриве, а на взгорке светятся купола и солнечно сияют кресты храма...; глядя на спящего бродягу, грустно напеваю: «Что тебе снится, крейсер Аврора...» Рядом с горемыкой, вывалив парящий язык, дремлет лохматая, изможденная дворняга – похоже, родня бродяге, поводырь... И вдруг вспоминаю: шестьдесят семь лет назад, «двадцать второго июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война...» Думаю обреченно: не спит стремянной смерти, не дремлет, сатано, коль поперек горла Россия, изножье престола Божия ... Одолели черти святое место. Чего еще, сатано, утварит на погибель Земли Русской?... Но жизнь продолжается... Спит ветхий шатун, и, может, уже вечным сном ... жизнь за горами – смерть за плечами; дремлет древняя собака, а на другом краю лавки нетерпеливо озирается тоненькая, в белом ромашковом платице, русоволосая, синеокая дева ...похоже, поджидает милого дружка; а рядом с девицей потешная малышка кормит пшеном прожорливых голубей, и птицы, уместившись на девчужкину ладонь, плеча крылами, склевывают пшено из пригоршни; а я уныло парюсь на солнечной стороне перрона, среди дачных баб и, глядя на бродягу, собаку, синеокою деву, потешную малышку и заплешенных голубей, улыбаюсь: жизнь продолжается, унынье – грех, но думаю тоскливо: тенистые березняки, солнечные сосняки и вольные степи, серебристо сверкающие на солнце реки и синие озера, росные луга и сенокосчики – мужики и бабы, парни и девки, деревенские избы с алыми закатными окошками, светлые и печальные сельские песни, звездные небеса, осиянные голубоватым лунным светом, – всё, что безгрешно любил в молодые лета, будет жить, но уже без меня – на веки вечные!.. и без меня!.. и это не вмещает душа моя. ... А что душу ждет, грехом повитую, Бог весть – жил ни в рай, ни в муку, на скорую руку. Прости, Господи...

Из знойного марева, словно подлодка из морской пучины, всплыла электричка; ожил сморенный народ, неожиданно проснулся лохматый шатун, сел на лавке, удивленно оглядывая белый перрон и дачников, похожих на суетливых мурашей. Жизнь продолжается...

Дай удрал в Китай

Байкал, сливаясь синью с туманно голубыми горными отрогами и снежными гольцами, ласковый и блаженно ленивый. Протяжно и счастливо оглядывая море, вдыхаю прибрежный ветерок с омулевым душком, и дальше благодатно бреду по шпалам, правлю в селение, где заждалась меня моя сирая избушка, все окошки насквозь проглядела, поджидаячи. Напеваю привычное: «Это русское раздолье, это родина моя...»

Пересекаю московской тракт, что жмётся к Байкалу. Заперт железнодорожный переезд, подле которого хищной сворой сбились визгливо пестрые заморские легковухи – пучеглазые лягухи. К переезду ковыляют беспризорные дворняги – уродливые, страшные, с полувылезшей и закуделившейся шерстью, – глядят старчески-слезливыми, гнойными глазами. Из черной «лягухи» выглядывает мордастый, бритый парень, кидает на обочину хлебную корку; собака подхватывает, грызёт на грязной, заплёванной машинами обочине.

Небо блаженное – высокое, по-сентябрьски синее...

Матерясь и зло дёргая покорную девчужку, шатко бредёт иссохшая, испитая тётка – тощая коза с пустым выменем; нахально лезет к машинам, беспрокло христорадничает – не подают, пьяная. Девчужечка – худая, бледная, ангельски смиренная, цепко держится за пьяную материну руку, больше ей не за что держаться в жестоком мире. Мама, хоть и пьющая, гулящая – един свет в окошке. О Царе Небесном и Царице Небесной кроха не ведаёт; да узнает ли?... не угодовал ли супостат и девчужке безумную мамину судьбину?... А папу, ежели такой у девчужки водится, повесить бы на осиновом суку.

Вспоминаю бабоньку, что ныне видел в электричке... В тамбуре накурено, хоть топор вешай. Изможденная, сухая жёнка торопливо и жадно смолит терпкую, трескучую «Приму», воровато и опасливо оглядываясь, – не застучали бы охранники, иначе ссадят на ближайшем полустанке, коль штраф не заплатишь. В ногах бабёнки жалкий узел, на котором сидит чумазый малый. Просом просит:

– Мама, мама... дай пряник?

Мать тоскливо и зло:

– Дай удрал в Китай. Беги, догоняй...

А Байкал – тихий и синий, уплывающий в небеса, откуда тихо наплывает молитвенная песнь о небесной вечности...

За други своя

В селении, где моя дача, подле гривастого березняка живет Кеша Манечкин – некогда рыжекудрый, песельный, баешный, балалаешный, мастер резных потешек, а ныне, когда ему уже под восемьдесят, похожий на деревенского дедка и Николу Угодника со старых сельских образов: залысевший ...седые кудерьки топорщатся над ушами... сивобородый, голубоглазый, и уж редко заликает байки, годом да родом бренчит на балалайке, – призадумался, пригорюнился на склоне лет, словно безлистный осенний березняк, задумчиво вззирающий в предзимнее, вечное небо. В соседях у Кеши Манечкина – Леша Русак, некогда процветающий, ныне прозябающий художник... ибо не по безродному и окаянному лихолетью слишком русский и народный... с тоски вечно хмельной, но балагуристый, тоже пожилой, но до старости величаемым просто Лешой.

И вот прибежал я на электричке вешней порой, когда в сумрачных балках еще светился снег, а на солнечных угорышках, где по-летнему припекало, уже зазеленела ранняя мурава. Бреду, любуюсь зеленоватой, сиреневой дымкой, укрывший березняк и осинник, хвалю Господа за дарованную земле красу, и вдруг вижу: на сухой и бурой хвое под охватистой сосной спит, сомлев на солнопеке, Леша Русак, а под боком, словно женка родимая, полеживает расчатая бутылка. Видимо, брел с полустанка, присел под сосной, потом принял с устатку на старые дрожжи, вот и развезло, бедалажного. Думал: разбужу, потрепал за плечо, но больно уж крепко и сладко спит, словно малое чадушко, насосавшись молочка из бутылочки с рыжей соской. Махнул рукой: спи, товарищ, на сосновом свежем воздухе;

отоспишься и добредешь до родной избушки. Взошел на угор, завернул на подхребетную улочку, гляжу: Кеша Манечкин семенит, тележку катит. Спрашиваю:

– Ты куда это, Кеша, с тележкой побежал? По навоз?

– Какой, Тоха, навоз?! Счас Русака в тележку погружу, на дачу отвезу. Простынет – земля не прогрелась ... А сам не добредет – отяжелел.

– Ну, беги, Кеша, выручай друга.

Попрошался и думаю: за други своя не жалеет живота, а у самого и живота осталось... добрести до погоста .

Оратай Микула Селянинович

Едва стаял снег, на солнопеках стеснительно, робко пробилась младенческая травка, набухли почки, березняки потянулись голубоватым маревом, и гужом повалил народ из каменной духоты на лесные просторы и дачи, что вот-вот проснулись от зимней спячки. Манит мать сыра земля – дивное Творение Божие... Закурились дымки на усадебках, поплыл горьковатый запашок горелого листа, мурашами забегали дачники меж грядок, парников и теплиц, подкармливая землю перегноем и навозом. Для пожилых дачников с их христорадной пенсишкой картошка-моркошка, и всякий овощ ладное подспорье, с голоду не пропадешь. Вижу диво: по лесному дачному проулку тихо шуршит лаково блестящая, похожая на майского навозного жука, заморская легковуха: «мерседес», поди, – прикидываю я, а коль сроду не держал в руках баранку, все иномарки для меня на одну заморскую харю. Крышка багажника открыта, а в багажнике... навоз. Я, вечно мотаясь в садоводство на электричке, дивлюсь: имеющий эдакий лимузин, мог бы запросто купить той же картошки, моркошки, тех же цветов садовых, ан нет, самому охота сеять, в земле ковыряться. Манит мать-сыра-земля... И видится: перелопатит мужик навоз из багажника в огуречный парник, истопит баньку, выхлещет березовым веничком усталъ и унынье, и, не чуя плоти тихо ликующей душой, притулится к песенному застолью, и вдруг потянет дивом дивным явленное в душе: «Отец мой был природный пахарь, и я работал вместе с ним...», и сквозь слёзную наволочь вдруг узрит ископное: сизый туман пасётся в речной долине, а на солнопечном взгорке оратай Микула Селянинович листвяничным корневищем раздирает целик под пашню, весело судачит с мохноногим деревенским меринном, и вольный ветер гуляет в русой бороде, полощет хольшовое рубище, бодря закомлевшую распаренную плоть.

Преподобный Илия Муромец, богатырь святорусский, – сын пахотного мужика Ивана Тимофеевича из села Карачарова, что под городом Муромом, отчего поганые да баре и бояре дразнили Илию деревенщиной. Но Святогор ...его со стоном и слезьми носила на себе мать сыра-земля, и он мог Илию вместе с конём посадить в карман... но даже Святогор не тягался с природным пахарем Микулой Селяниновичем. Да и какое там тягаться, Микулину сумочку переметную и ту...

...не мог пошевелить;

Стал здымать обема рукамы.

Только дух под сумочку мог подпустить,

А сам по колена в землю угрыз...

Ибо в той сумочке тяга земная, одному аратаю Микуле Селяниновичу подсильная. Недаром ведь и Божьи посланники, калики перехожие, напоившие Илию святой водой, и те упреждали его:

Не бейся с родом Микуловым,

Его любит матушка сыра-земля...

Ступаю босыми ногами по дачной земельке, прикидываю, где нынче капусту, картошку, маркошку посею, где яблоню, грушу, сливу и вишню посажу и чую: прохладная земная благодать, сочась сквозь голые ступни, вливается в уставшую душу.

От князя тьмы

Земного, не юродивого Христа ради, раба ... увы, не Божьего – мира сего... смалу и по сивую бороду рвет, словно одичалая вешняя вода дамбы и запруды, злоба к ближнему... а значит, и ко Христу Богу. Злоба неправедная и злоба праведная – око за око, зуб за зуб – скручивает в собачьей сваре братьев во Христе, кого обрекая лишь на смерть телесную, а кого лишая и спасения в жизни вечной. «Восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его», – аки жертвенного агнца, зарезал кинжалом, «ки сказал Господь Каину: ...голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли». И уподобились люди Каину, ибо речено Господом Богом: «Предаст же брат брата на смерть, и отец – сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их», Я вижу каинов кинжал: хищно изогнутый, злобно сверкающий, с мудреной резьбой на костяной ручке, я вижу каинов кинжал и скорблю: из колена в колена скудоверные дедичи и отичи чад мало любви поучали, но паче злобе иссушающей, в душу беса вселяющей ...чтобы мог за себя постоять и оборонить нажитого тельца, хоть и золотого да тленного... с пеленок приваживая к оружию ... убивать ближних... из века в век умудряя оружие, изукрашивая искусно, что воистину от искуса князя тьмы. При сем заманисто узоря винные баклашки, бутылки и табачные пачки, чтоб заодно и сам себя убивал. Воистину, кто полагает, что бесы бродят с хвостами и рогами, вечно будут их холопами.

Птички Божии не жнут, не сеют

Степенный зажиточный мужик ведаёт от святых отцов: в окно подать – Богу дать, что скупому человеку Господь убавит веку. Вот и вырешил: на Святой Пасхальной седмице тряхнуть мощной, авось не убудет. Да и всё может случится: и богатый к бедному стучится. Бывало, иной нажил махом — ушло прахом.

Потчует богатый мужик голь перекатную – прошаков деревенских, христовославов; стол и не ломится от разносолов, да и не скуден ествой. Мог бы, что не мило, то и попу в кадило, но стыдно в святые дни угощать объедками. Умилённо и сурово помолясь, истово перекрестясь, хозяин и христовославы, усаживаются за столы дубовые, за скатерти браные, где яства сахарные, питья медвяные. По закуске и стол – престол.

«Не взыщите, братья, чем богаты, тем и рады. Третий год недород...» Хозяин смущенно краснеет, а дошлый прошак ухмыляется в реденькую бороду: де, упаси Бог тебе жить, как прибудняешься. Раньше был Ваньча, теперичи Иван.

Искоса, словно волк на теля, поглядывает мужик на едоков и думает огрузлую, неповоротливую, воловью думу: «Браво живут, ни кола, ни двора, ни скотинёшки, ни ребячёшки; небесами облачаются, алыми зорями подпоясываются, белыми звездами застегиваются... Ни забот, ни хлопот». «Вы масло-то на хлеб мажьте...» «Мажем, мажем, кормилец...» «Кого же вы мажете?! Ломтями кладёте...» Прошаки, сутулясь под тяжким взглядом, тихо и пугливо хлебают бараний кулеш, мажут коровье масло на ломти белого хлеба. Чавкают голыми ртами, трут голыми деснами хлебушек, чавкают, а про себя, поди, ворчат: кореная ества поперек горла топорщится...

Мужик, с утра разговелся, щедро насытил утробу и молитовку деревенскую прошептал: «Слава Те, Господи, Бог напитал, никто не видал, а кто видел, тот не обидел»; и, уже сытый, косится мужик на христовославов-христорадников, на еству и вздыхает про себя: «Горбом все добыл, в поте лица да в мозолях, а эти... – насмешливо оглядывает едоков, – лодыри, до пролежней кирпичи протирали на печи да тяжельше ложки ничего не подымали. Разве что христовославить под окном мастаки...» Но вдруг вспомнил отца, что дожил век в стуже и нуже, весело утешаясь: «Богачи едят калачи, да не спят, ни в день, ни в ночи; бедняк чего не хлебнёт, да и заснёт, ибо мошна пуста, да душа чиста».

Сын, сам горбатясь от темна до темна, нанимая батраков на хлеба и покосы, зажил богато, веря: тот мудрён, у кого карман ядрён. Но слышал он, трудяга, крот земляной, яко рече Господь: «Птички Божии не жнут, не сеют...», но не может вместить в мужичью душу Божественные глаголы: да ежли все людишки обратятся в птах Божиих и перестанут пахать да сеять, вымрут же?... Поминается евангелийская Марфа, что «приняла Его в дом свой» и «заботилась о большом угощении», а сестра её Мария... нет бы подсобить... «села у ног Иисуса, и слушала слово Его». И когда Марфа посетовала: «сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус сказал в ответ: «Марфа, Марфа! ты заботишься и суетишься о многом; А одно только нужно: Мария же избрала благу часть, которая не отнимется у ней». Вот и мужик деревенский навроде Марфы... но и хлопотливая, заботливая Марфа, обрела святость, как и молитвенная сестра Мария.

До святой Марфы мужику, что до синих небес, но охота вместить, и он усерднее угощает прошаков. Поснедав, нищевроды-христовославы помолились, перекрестились, благодаря Бога, что нынче борода не пуста, затем поясню поклонились хозяину, коснувшись дланями матери-сырой земли, и в голос: «Благодарствуем, кормилец. Милость Божия, Покров Богородицы, молитвы святых тебе, добрая душа, и всей родове твоей...» Мужик смутился, покраснел от стыда и неволью отмахнулся от поклона: «Не за что... Вам поклон, что снизошли, добрые люди... Помолитесь за мою душу грешную...» И вдруг мужику стало легко и светло на душе, словно слетели с горба долгие, крестьянские лета, и он, отроче младо, умилённо обмер в березняке, вечер черневшего посреди серого, предснежного неба, а нынче... в белоснежном покровце, среди небесной голубизны... светлого, осиянного нежарким, ласковым солнышком.

Русский

Бывший колхозный агроном, ныне зажиточный и работающий деревенский мужик, толковал мне в рождественском застолье: «На сон грядущий, Тоха, книги читаю, да... О русских!.. В библиотеке-то шаром покати, в город заказываю... Чита-аю, паря... Телевизор не гляжу – брехня собачья. А книги читаю... и даже божественные. Я ведь, Тоха, крещенный, меня мамка исподтишка крестила при Никите Кукурузнике. Да... И вычитал я, Толя, что на весь мир лишь один народ богоносец – русский, прочие блудят во тьме кромешной. Во как... Может, паря, богоносец был, да сплыл... Какой там богоносец, когда в деревне сплошь и рядом – пьянь да рвань. А уж лодыри-и!.. каких белый свет не видал. В пень колотят, день проводят... И живут... без поста, без креста. А тоже, паря, русские... Ага... Но, паря, интересно рассуждают: водку жрёшь, до нитки пропиваешься, в канаве валяешься, – русский, пашешь от темна до темна – жид, под себя гребёшь. Вот и пойми: русский – он пахарь по натуре или пьянчуга горький?.. Хотя... лодырь да пьянчуга Русскую Империю сроду бы не выстроил. Весь мир перед Русью шею гнул. Да-а... Но, видно, выдохлись мы, паря. Испокон веку мужика власть ломала через колено, и, похоже, доломала. Хана, однако... А может, одыбаем, как ты думаешь?..»

Москва

В кои-то веки выбрался в белокаменную, где в последний раз гостил лет десять назад, где ныне, увы, снежные и зоревые купола, луковки и маковки, кресты «сорока сороков» в визгливо пёстром, иноверном, иноземном рекламном смраде, и нужно душевное усилие, чтобы у паперти храма отвлечься от содомского ора и визга, воспринять молитвенный дух православной Москвы. И когда удастся, то, оглядывая русские соборы, ощущая себя пред их величием червием земным, суетным и невыправимо грешным, вновь и вновь дивишься, вроде и не веришь: русские ли мужики во славу Христову сотворили эдакую божественную красу, коя иноземцам-иноверцам и не снилась даже в самом боговдохновенном сне?.. И невольная гордость за родимых братьев и сестёр прямит ссутуленную спину, горделиво вздымает понурую голову к сияющим куполам, словно и ты приложил дух свой и ремесло к дивному русскому величию.

Дворяны-смутьяны

Когда, словно царственный листвень, подточенный инославными и родными кротоми да короедами, со вселенским гулом рухнула великодержавная рабоче-крестьянская власть, и в русской образованщине разыгралась белая монархическая кровь; ошалело кинулись сыны рабочих и колхозников окапывать свои родовые и сословные деревья, жадно нашаривая в толще веков княжеские корни. И редкие уже, как при Советах, гордились крестьянскими, а уж тем паче – рабочими корнями. Моя отеческая и материнская родова, к скорби, изведенная лишь до дедова колена, – воспеты мною в повестях и бывальщинах, забайкальские мужики и бабы, коих ни за какие пироги и пышки не променяю на князей и графей. Мой умудренный деревенский родич так бы молвил: «Оно и слава Богу, что не угодили в родовой графья да князья: дворяны – смутьяны... Кичился по-французски дворянин, пока не дал ему шее крестьянин...»

Живи смелей, скорей повесят

Слушал намеренно томлящую до слёз русскую старину – песенное предание, легендарное изложение Крестных мук Иисуса Христа, сливших в себе народные и литургические песенные традиции. Плачя-вопленица выплакивает слёзную отпевальную, поминальную причеть:

«Стоит гора, как снег бела...
А на той на горе стоит церква...
А во той во церкви стоит престол...
Над престолом стоит сам Иисус Христос...
За Христом стоит Божия Матерь...
Пришли жида Пилатовы...
Повели Христа на распятие...
Иисус кричит Своей Матери:
«Уж Ты Мать, Моя Мать, помолись Богу...
чтоб избавил Меня Бог страсти ужаса...»
А Мать пла-ачет – слезы катятся,
а навзрыд Ее, как волна льются...»

А третьего дня читал былинку XI века «Илья Муромец на заставе богатырской» и вычитал на свою беду, как Добрыня Никитич на охоте стрелял гусей и лебедей, и...

В чистом поле увидел ископоть великую,
Ископоть велика — полпечи.
Учал он исколоть досматривать:
— Еще что же это за богатырь ехал?
Из этой земли из Жидовския
Проехал Жидовин могуч богатырь
На эти степи Цицарския !

И сулится иудейский богатырь-нахвалящик да бахвалится:

Я соборны больши церкви на огонь сожгу,
Я печатны больши книги во грязи стопчу;
Чудны образы-иконы на поплаву воды...

Ехал Жидовин покорить Святую Русь, и покорил бы, яко ныне ...Добрынюшку честолюбием искусил, Алёшу Поповича златом-серебром соблазнил... и владеть бы Жидовину Землей Русской, да святорусский богатырь Илья Муромец в поле выехал, в поле дикое, оборонить веру христианскую, постоять за вдов и сиротушек малых. И Бог Илие в помощь, и Покров Богородицы, и одолел Жидовина крестьянский сын, атаман казачий, яко святой Егорий Храбрый копием змея озёрного, пожирившего народ близ Ливанский гор, а как совладал с нахвалящиной, так и сподобился пещерного иночества, принял монашеский постриг.

Послушал я скорбную песнь про Христа, почитал былинку про киевского мниха Илию Муромца, по прозванию Чеботок, чьи святые мощи покоились в Ближних пещерах Киево-Печерской обители, и надумал ввести старины в повествование, а потом спохватился испуганно: заклюет же нерусь, царящая на Руси, повинит в юдофобии... русской народной. Пуганая ворона куста боится... Хотя чего бояться, живи смелей, скорей повесят, а и на всё воля Божия.

Челобитная

Винить царящую на Руси хазарскую нежить в том, что она спихнула русскую народную литературу с корабля современности, жаловаться хазарскому правителю было бы смешно и горько. Это походило бы на то, как если бы мужики из полоненной смоленщины и белгородчины писали хазарскому правителю, лепили в глаза правду-матку и просом просили заступиться: мол, наше житье – вставши и за вытье, босота-нагота, стужа и нужда; псари твои денно и ночью батогамы бьют, плакать не дают; а и душу вынают: веру хулят, святое порочат, обычай бесчестят, ибо восхотели, чтобы всякий дом – то содом, всякий двор – то гомор, всякая улица – блудница; эдакое горе мыкаем, а посему ты уж, батюшка-свет, укроти лихомцев да заступись за нас, грешных, не дай сгинуть в голоде-холоде, без поста и креста, без Бога и царя... А Васька слушает да ест... хазарский наместник ухмыльнулся бы в смолевую бороду, весело комкая челобитную, – до ветру сгодится; ох, повеселила бы мужичья челобитная чужезерного правителя, сжалился бы над оскудевшим народишком, как пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву...

Я б женился на тунгуске

Деревенская привычка: что вижу, то пою, либо стишок плету. Помню, теплым летним ветром, словно замахнуло меня, перекаати-поле, в музей под открытым небом, что на сорок седьмом километре Байкальского тракта. Бреду через бурятскую зону, мимо рубленных юрт, крытых берестой, лиственничным корьём и зеленым дёрном, и вертится на языке потеха песенная: «Где ж ты моя узкоглазая, где, нет тебя в Бохане, нет в Усть-Орде...» А потом: «Вышла бурятка на берег Уды, бросила в воду унты...» Спыхватываюсь: не дай Бог буряты услышат, оскорбятся, хотя... могу ответить: де, с любовью пою – люблю буряток с раскосыми птичьими очами, что целовались в степи с утренним солнцем.

Ох, завели бы в музей еврейскую зону, и пропел бы я соломонову «Песнь песней» юной еврейке с вечной печалью в чаровных ночных очах... Вспоминаю сокурусника – курчавый, смуглый на хазарский лад, балагуристый, ныне потешающий родных израильтян, – вспоминаю, как в университетской курилке Арам возглашал: «Старики, свежий анекдот про жидов... Умирала Сара Абрамовна. Рядом скорбел ее сын... И тут на тополевую ветку за окном прилетела птичка-синичка. «Птичка...» – прошептала умирающая Сара Абрамовна, и глазами показала на синичку. «Мамо, не отвлекайся...» – сказал матери сын». А мне вспомнилось: умирала реальная... скажем, Сара Абрамовна... и, всю жизнь отдавшая театру, театрально закатывая черные очи, слезно просила дочь: «Золотце моё, не открывайте гроб, не показывайте меня – я буду некрасивая...» Дочь утешала: «Мама, не переживай, есть же грим. Будешь, словно невеста под венцом...» Вот так же в русской сказке, бабка велит деду: «Попроси золотую рыбку, чтобы сотворила из меня, старухи-вековухи, бравую молодуху...»

Проходя мимо тунгусской зоны, изрекаю с поэтическим подвоём: «У тунгуски глазки узки, и как уголья черны, я б женился на тунгуске, говорят они верны...» Думаю, тунгусы на куплет не обидятся.

А вот и русская зона... Видится широкая, словно ладья, русская баба; вздымается яром от реки, плавно раскачиваясь под коромыслом, словно в больших вёдрах и не плещется вода, и в памяти всплывает: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет...»

Мимо, словно тонконогие цапли, процокали копытами моложавые стильные женщины, чудом завернувшие в этнографический музей, и вспомнилась усмешка фронтовика: ежли бы в войну не бабы, а женщины жили, войну бы мы, брат, проиграли. Да!

Бреду по музею и думаю: лишь музейные зоны и остались от России-матушки, что умиляла и умудряла поколения пословично-поговорочной, цветастой речью, народными обрядами, обычаями, что духом возносила народ к Небесам Божиим.

Ночная кукушка

Московские гулящие люди – муж да жена – гостили в байкальской деревушке, на постое у байкальской старухи, которая поила их тёплым парным молоком. Позаочь столичная семейка осуждала старухино молоко: жидковато. Муж умдрённо толковал жене: «Байкал рядом, корова много воды пьёт, вот молоко и жидкое. И, кажется, рыбой припахивает...» Хитрая жена – без году неделя в столице, выросшая в деревне и смалу доившая коров – восхищенно глядит на дурковатого мужа: «Да-а?! А я, дура, сроду бы не сообразила...» Польщенный муж ласково обнимает мудрую жену, которая ведаёт: ночная кукушка дённую перекукует. Бабёнка улыбается и соглашается, когда муженёк в сердцах восклицает: «Ты почему такая дура?!» «Дак выросла подле болота...». «Вот за то, что ты дура, я тебя и люблю,» – муж целует ночную кукушку. Вот и живут в ладу, а то иной мужик, чтобы жить с шибко грамотной, поперечной бабёнкой душа в душу, трясёт ее, как грушу.

Решительный бой

Мужичок, пьяненький, махонький, эдакая конторская тля, с кряхтением, сопением раздевается в прихожей; над мужичком зловеще нависает баба, подбоченясь, уперши веснушчатые руки в крутые бока. Мужик заликает ей байку:

– Маша, бухой мужик привалил домой и спрашивает бабу: «Скажи, милая, что у меня в правом кармане на букву «п». «Получка!» – гадает баба. «Нет, путылка... А что у меня в левом кармане на букву «а»?» «Аванс!..» «Апять путылка...».

– Счас, пьяная харя, будет тебе и на «а», и на «п»!..

Мужик боязливо постреливает юрким глазом на гром-бабу, но харахорится, напевает ...вернее, мычит... в сырой, утинный нос:

– Это е-есть наш после-е-едний и реши-и-ительный бо-о-ой!..

Тут гром-баба решительно, по-мужичьи широко отмахнувшись, дает мужику затрешину; тот осаживается на костистый зад, и, уткнув несчастное лицо в колени, плачет.

Баба круто разворачивается и уходит на кухню, где раздраженно бренчит, гремит посудой, хотя, нет-нет да и замирая, прислушивается: чего мужик творит? Потом, не удержавшись, снова идет в прихожую, где мужик горестно сидит на полу.

– Зарекался же не пить! – бранит мужа. – Или коза зарекалась в чужой огород не ходить...

– Дуся, сегодня хозяин велит: «Вася, заводи черную бухгалтерию. От налогов будем спасаться...» А я говорю: «Семен Моисеич, я так не могу». «Почему?» – спрашивает. Отвечаю: «А мне совесть не позволяет. У меня совесть есть...» «Совесть?! – смеется, сволочь. – Ну, Вася, – говорит, – будешь в мусорных контейнерах ковыряться со своей совестью. Совок...» «Я не совок, – говорю, – хотя и не против советских людей. Я – православный, и грех на душу не возьму...»

Мужик опять плачет, усунув лицо в колени. Жена тяжело вздыхает, не зная, что и думать: и про совесть ведаёт – крещенная, и деньги нужны. Ничегошеньки не удумав, опускается на низенькую лавочку и, опять тяжело, одышливо вздохнув, робко гладит мужа по лысеющему темени, потом прижимает к мягкой груди. Мужик, малое время еще содрогаясь в рыданиях острыми плечами, потихоньку затихает: чувствует, эдакая баба не даст пропасть.

Блуд

Вещий сон приснился после лихого ночного кутежа: скорбел мой ангел-хранитель, и думал я покаянно: котяры с кошурками мартовскими звездными ночами вопят от похоти на дикие лады, а майскими зорями сладко токуют тетери с тетерками, глухари с глухарками, а у народишка и в крещенскую стужу – март и май, успевай любовь справляй, и так круглый год; ладно, молодые зеленые, а то ...седина в бороду, бес в ребро... уж прах сзаду сыпется, нет, токуют тетери с тетерками и вопят по-кошачьи; но тварь Божья по промыслу свыше, ради зарождения жизни, а нынешний человечешко похоти ради, к тому же в отличии от народишка скотина не впадает в содомский грех, не страдает лесбисом, «голубизной» и рукоблудием, не жрет водку до ярого безумия, не курит табак, не балуется дурманным зельем; так значит, скотина-животина – духовнее человечешки, хоть он и подобие Божие?..

Поднесеньев день

Красные безбожники ворчали: мол, вам, боговерущим, сплошные праздники: то поднесеньев день, то перенесение порток на другой гвоздок. А теперь праздников, кроме христианских, тьма-тьмущая, не жизнь, охальной праздник. Нынешний календарь так и дразнят: пьяный календарь... Мой приятель художник, выпивоха добрый, в мастерской отмечал с дружкой прописанный в календаре «День озонового слоя». Ныне, говорит, ожил и старинный праздник – синичкин день, величаемый днем зимующих птиц. Опять бутылку брать, стол накрывать, гостей созывать. А недавно отрываю старые листья численника, отошавшего к новолетию, и диву даюсь: оказывается и «День Конституций» прописан – опять гулять. И стишок родился: «В «Синичкин день», гуляй все кому не лень. В «День Конституции» – гуляет коррупция. Грядет и «День проституции».

2009, 2010, 2011